

СЕРГЕЙ
АКСАКОВ



Аленький цветочек
Детские годы
Багрова-внука



ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

Всемирная литература

Сергей Аксаков

**Аленький цветочек.
Детские годы Багрова-внука**

«ЭКСМО»

1858

УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

Аксаков С. Т.

Аленький цветочек. Детские годы Багрова-внука /
С. Т. Аксаков — «Эксмо», 1858 — (Всемирная литература)

ISBN 978-5-04-248223-6

Сергей Аксаков (1791–1859) – русский писатель, представитель древнего дворянского рода. «Аленький цветочек» – история о том, как любовь и доброта разрушают колдовские чары. Купец, отправившись по делам, срывает для младшей дочери аленький цветочек в саду Чудища и попадает за это в плен. Спасая отца, девушка добровольно отправляется к логово монстра. Она влюбляется в его добрую душу, а не внешность, тем самым снимая страшное заклятие... Сказка впервые напечатана в 1858 году как приложение к автобиографии «Детские годы Багрова-внука», чтобы, по замечанию самого Аксакова, не прерывать рассказа о детстве. Текст сопровождают черно-белые иллюстрации.

УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-04-248223-6

© Аксаков С. Т., 1858
© Эксмо, 1858

Содержание

Детские годы Багрова-внука	6
К читателям	6
Вступление	7
Отрывочные воспоминания	8
Последовательные воспоминания	12
Дорога до Парашина	16
Парашино	25
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Сергей Тимофеевич Аксаков
Аленький цветочек
Детские годы Багрова-внука

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

Детские годы Багрова-внука

Внучке моей Ольге Григорьевне Аксаковой

К читателям

Я написал отрывки из «Семейной хроники» по рассказам семейства гг. Багровых, как известно моим благосклонным читателям. В эпилоге к пятому и последнему отрывку я простился с описанными мною личностями, не думая, чтобы мне когда-нибудь привелось говорить о них. Но человек часто думает ошибочно: внук Степана Михайловича Багрова рассказал мне с большими подробностями историю своих детских годов; я записал его рассказы с возможною точностью, а как они служат продолжением «Семейной хроники», так счастливо обратившей на себя внимание читающей публики, и как рассказы эти представляют довольно полную историю дитяти, жизнь человека в детстве, детский мир, создающийся постепенно под влиянием ежедневных новых впечатлений, – то я решился напечатать записанные мною рассказы. Желая, по возможности, передать живость изустного повествования, я везде говорю прямо от лица рассказчика. Прежние лица «Хроники» выходят опять на сцену, а старшие, то есть дедушка и бабушка, в продолжение рассказа оставляют ее навсегда... Снова поручаю моих Багровых благосклонному вниманию читателей.

С. Аксаков

Вступление

Я сам не знаю, можно ли вполне верить всему тому, что сохранила моя память? Если я помню действительно случившиеся события, то это можно назвать воспоминаниями не только детства, но даже младенчества. Разумеется, я ничего не помню в связи, в непрерывной последовательности; но многие случаи живут в моей памяти до сих пор со всею яркостью красок, со всею живостью вчерашнего события. Будучи лет трех или четырех, я рассказывал окружающим меня, что помню, как отнимали меня от кормилицы... Все смеялись моим рассказам и уверяли, что я наслушался их от матери или няньки и подумал, что это я сам видел. Я спорил и в доказательство приводил иногда такие обстоятельства, которые не могли мне быть рассказаны и которые могли знать только я да моя кормилица или мать. Наводили справки, и часто оказывалось, что действительно дело было так и что рассказать мне о нем никто не мог. Но не все, казавшееся мне виденным, видел я в самом деле; те же справки иногда доказывали, что многого я не мог видеть, а мог только слышать.

Итак, я стану рассказывать из доисторической, так сказать, эпохи моего детства только то, в действительности чего не могу сомневаться.

Отрывочные воспоминания

Самые первые предметы, уцелевшие на ветхой картине давно прошедшего, картине, сильно полинявшей в иных местах от времени и потока шестидесятих годов, предметы и образы, которые еще носят в моей памяти, – кормилица, маленькая сестрица и мать; тогда они не имели для меня никакого определенного значения и были только безыменными образами. Кормилица представляется мне сначала каким-то таинственным, почти невидимым существом. Я помню себя лежащим ночью то в кровати, то на руках матери и горько плачущим: с рыданием и воплями повторял я одно и то же слово, призывая кого-то, и кто-то являлся в сумраке слабоосвещенной комнаты, брал меня на руки, клал к груди... и мне становилось хорошо. Потом помню, что уже никто не являлся на мой крик и призывы, что мать, прижав меня к груди, напевая одни и те же слова успокоительной песни, бегала со мной по комнате до тех пор, пока я засыпал. Кормилица, страстно меня любившая, опять несколько раз является в моих воспоминаниях, иногда вдаль, украдкой смотрящая на меня из-за других, иногда целующая мои руки, лицо и плачущая надо мною. Кормилица моя была господская крестьянка и жила за тридцать верст; она отправлялась из деревни пешком в субботу вечером и приходила в Уфу рано поутру в воскресенье; нагнав себя на меня и отдохнув, пешком же возвращалась в свою Касимовку, чтобы поспеть на барщину. Помню, что она один раз приходила, а может быть, и приезжала как-нибудь, с моей молочной сестрой, здоровой и краснощекой девочкой.

Сестрицу я любил сначала больше всех игрушек, больше матери, и любовь эта выражалась беспрестанным желаньем ее видеть и чувством жалости: мне все казалось, что ей холодно, что она голодна и что ей хочется кушать; я беспрестанно хотел одеть ее своим платицем и кормить своим кушаньем; разумеется, мне этого не позволяли, и я плакал.

Постоянное присутствие матери сливается с каждым моим воспоминанием. Ее образ неразрывно соединяется с моим существованием, и потому он мало выдается в отрывочных картинах первого времени моего детства, хотя постоянно участвует в них.

Тут следует большой промежуток, то есть темное пятно или полинявшее место в картине давно минувшего, и я начинаю себя помнить уже очень больным, и не в начале болезни, которая тянулась с лишком полтора года, не в конце ее (когда я уже оправлялся), нет, именно помню себя в такой слабости, что каждую минуту опасались за мою жизнь. Один раз, рано утром, я проснулся или очнулся, и не узнаю, где я. Все было незнакомо мне: высокая, большая комната, голые стены из претолстых новых сосновых бревен, сильный смолистый запах; яркое, кажется летнее, солнце только что всходит и сквозь окно с правой стороны, поверх рединного полога, который был надо мною опущен, ярко отражается на противоположной стене... Подле меня тревожно спит, без подушек и нераздетая, моя мать. Как теперь гляжу на черную ее косу, растрепанную по худому и желтому ее лицу. Меня накануне привезли в подгородную деревню Зубовку, верстах в десяти от Уфы. Видно, дорога и произведенный движением спокойный сон подкрепили меня; мне стало хорошо и весело, так что я несколько минут с любопытством и удовольствием рассматривал сквозь полог окружающие меня новые предметы. Я не умел поберечь сна бедной моей матери, тронул ее рукой и сказал: «Ах, какое солнышко! как хорошо пахнет!» Мать вскочила, в испуге сначала, и потом обрадовалась, вслушавшись в мой крепкий голос и взглянув на мое посвежившее лицо. Как она меня ласкала, какими называла именами, как радостно плакала... этого не расскажешь! Полог подняли; я попросил есть, меня покормили и дали мне выпить полрюмки старого рейнвейну, который, как думали тогда, один только и подкреплял меня. Рейнвейну налили мне из какой-то странной бутылки со сплюснутым, широким, круглым дном и длинною узенькою шейкою. С тех пор я не видывал таких бутылок. Потом, по просьбе моей, достали мне кусочки или висюльки сосновой смолы, кото-

рая везде по стенам и косякам топилась, капала, даже текла понемножку, застывая и засыхая на дороге и висая в воздухе маленькими сосульками, совершенно похожими своим наружным видом на обыкновенные ледяные сосульки. Я очень любил запах сосновой и еловой смолы, которую курили иногда в наших детских комнатах. Я понюхал, полюбовался, поиграл душистыми и прозрачными смоляными сосульками; они растаяли у меня в руках и склеили мои худые, длинные пальцы; мать вымыла мне руки, вытерла их насухо, и я стал дремать... Предметы начали мешаться в моих глазах; мне казалось, что мы едем в карете, что мне хотят дать лекарство и я не хочу принимать его, что вместо матери стоит подле меня нянька Агафья или кормилица... Как заснул я и что было после – ничего не помню.

Часто припоминаю я себя в карете, даже не всегда запряженной лошадьми, не всегда в дороге. Очень помню, что мать, а иногда нянька держит меня на руках, одетого очень тепло, что мы сидим в карете, стоящей в сарае, а иногда вывезенной на двор; что я хнычу, повторяя слабым голосом: «Супу, супу», – которого мне давали понемножку, несмотря на болезненный, мучительный голод, сменявшийся иногда совершенным отвращением от пищи. Мне сказывали, что в карете я плакал менее и вообще был гораздо спокойнее. Кажется, господа доктора в самом начале болезни дурно лечили меня и наконец залечили почти до смерти, доведя до совершенного ослабления пищеварительные органы; а может быть, что мнительность, излишние опасения страстной матери, беспрестанная перемена лекарств были причиною отчаянного положения, в котором я находился.

Я иногда лежал в забытии, в каком-то среднем состоянии между сном и обмороком; пульс почти переставал биться, дыханье было так слабо, что прикладывали зеркало к губам моим, чтоб узнать, жив ли я; но я помню многое, что делали со мной в то время и что говорили около меня, предполагая, что я уже ничего не вижу, не слышу и не понимаю, – что я умираю. Доктора и все окружающие давно осудили меня на смерть: доктора – по несомненным медицинским признакам, а окружающие – по несомненным дурным приметам, неосновательность и ложность которых оказались на мне весьма убедительно. Страданий матери моей описать невозможно, но восторженное присутствие духа и надежда спасти свое дитя никогда ее не оставляли. «Матушка Софья Николавна, – не один раз говорила, как я сам слышал, преданная ей душою дальняя родственница Чепрунова, – перестань ты мучить свое дитя; ведь уж и доктора и священник сказали тебе, что он не жилец. Покорись воле божией: положи дитя под образа, затепли свечку и дай его ангельской душеньке выйти с покоем из тела. Ведь ты только мешаешь ей и тревожишь ее, а пособить не можешь...» Но с гневом встречала такие речи моя мать и отвечала, что покуда искра жизни тлеется во мне, она не перестанет делать все что может для моего спасенья, – и снова клала меня, бесчувственного, в крепительную ванну, вливая в рот рейнвейну или бульону, целые часы растирала мне грудь и спину голыми руками, а если и это не помогало, то наполняла легкие мои своим дыханьем – и я, после глубокого вздоха, начинал дышать сильнее, как будто просыпался к жизни, получал сознание, начинал принимать пищу и говорить, и даже поправлялся на некоторое время. Так бывало не один раз. Я даже мог заниматься своими игрушками, которые расставляли подле меня на маленьком столике; разумеется, все это делал я, лежа в кровати, потому что едва шевелил своими пальцами. Но самое главное мое удовольствие состояло в том, что приносили ко мне мою милую сестрицу, давали поцеловать, погладить по головке, а потом нянька садилась с нею против меня, и я подолгу смотрел на сестру, указывая то на одну, то на другую мою игрушку и приказывая подавать их сестрице.

Заметив, что дорога мне как будто полезна, мать ездила со мной беспрестанно: то в подгородные деревушки своих братьев, то к знакомым помещикам; один раз, не знаю куда, сделали мы большое путешествие; отец был с нами. Дорогой, довольно рано поутру, почувство-

вал я себя так дурно, так я ослабел, что принуждены были остановиться; вынесли меня из кареты, постлали постель в высокой траве лесной поляны, в тени деревьев, и положили почти безжизненного. Я все видел и понимал, что около меня делали. Слышал, как плакал отец и утешал отчаявшуюся мать, как горячо она молилась, подняв руки к небу. Я все слышал и видел явственно и не мог сказать ни одного слова, не мог пошевелиться – и вдруг точно проснулся и почувствовал себя лучше, крепче обыкновенного. Лес, тень, цветы, ароматный воздух мне так понравились, что я упросил не трогать меня с места. Так и простояли мы тут до вечера. Лошадей выпрягли и пустили на траву близехонько от меня, и мне это было приятно. Где-то нашли родниковую воду; я слышал, как толковали об этом; развели огонь, пили чай, а мне дали выпить отвратительной римской ромашки с рейнвейном, приготовили кушанье, обедали, и все отдыхали, даже мать моя спала долго. Я не спал, но чувствовал необыкновенную бодрость и какое-то внутреннее удовольствие и спокойствие, или, вернее сказать, я не понимал, что чувствовал, но мне было хорошо. Уже довольно поздно вечером, несмотря на мои просьбы и слезы, положили меня в карету и перевезли в ближайшую на дороге татарскую деревню, где и ночевали. На другой день поутру я чувствовал себя также свежее и лучше против обыкновенного. Когда мы воротились в город, моя мать, видя, что я стал немножко покрепче, и сообразя, что я уже с неделю не принимал обыкновенных микстур и порошков, помолилась Богу и решила оставить уфимских докторов, а принялась лечить меня по домашнему лечебнику Бухана. Мне становилось час от часу лучше, и через несколько месяцев я был уже почти здоров: но все это время, от кормежки на лесной поляне до настоящего выздоровления, почти совершенно изгладилось из моей памяти. Впрочем, одно происшествие я помню довольно ясно: оно случилось, по уверению меня окружающих, в самой середине моего выздоровления...

Чувство жалости ко всему страдающему доходило во мне, в первое время моего выздоровления, до болезненного излишества. Прежде всего это чувство обратилось на мою маленькую сестрицу: я не мог видеть и слышать ее слез или крика и сейчас начинал сам плакать; она же была в это время нездорова. Сначала мать приказала было перевести ее в другую комнату; но я, заметив это, пришел в такое волнение и тоску, как мне после говорили, что поспешили возвратить мне мою сестрицу. Медленно поправляясь, я не скоро начал ходить и сначала целые дни, лежа в своей кроватке и посадив к себе сестру, забавлял ее разными игрушками или показываньем картинок. Игрушки у нас были самые простые: небольшие гладкие шарики или кусочки дерева, которые мы называли чурочками; я строил из них какие-то клетки, а моя подруга любила разрушать их, махнув своей ручонкой. Потом начал я бродить и сидеть на окошке, растворенном прямо в сад. Всякая птичка, даже воробей, привлекала мое внимание и доставляла мне большое удовольствие. Мать, которая все свободное время от посещения гостей и хозяйственных забот проводила около меня, сейчас достала мне клетку с птичками и пару ручных голубей, которые ночевали под моей кроваткой. Мне рассказывали, что я пришел от них в такое восхищение и так его выражал, что нельзя было смотреть равнодушно на мою радость. Один раз, сидя на окошке (с этой минуты я все уже твердо помню), услышал я какой-то жалобный визг в саду; мать тоже его услышала, и когда я стал просить, чтобы послали посмотреть, кто это плачет, что, «верно, кому-нибудь больно» – мать послала девушку, и та через несколько минут принесла в своих пригоршнях крошечного, еще слепого, щеночка, который, весь дрожа и нетвердо опираясь на свои кривые лапки, тыкаясь во все стороны головой, жалобно визжал, или *сучал*, как выражалась моя нянька. Мне стало так его жаль, что я взял этого щеночка и закутал его своим платьем. Мать приказала принести на блюде тепленького молочка, и после многих попыток, толкая рыльцем слепого кутенка в молоко, выгучили его лакать. С этих пор щенок по целым часам со мной не расставался; кормить его по несколько раз в день сделалось моей любимой забавой; его называли Суркой, он сделался потом небольшой дворняжкой и жил у нас семнадцать лет, разумеется, уже не в комнате, а на дворе, сохраняя всегда необыкновенную привязанность ко мне и к моей матери.

Выздоровление мое считалось чудом, по признанию самих докторов. Мать приписывала его, во-первых, бесконечному милосердию божию, а во-вторых, лечебнику Бухана. Бухан получил титул моего спасителя, и мать приучила меня в детстве молиться Богу за упокой его души при утренней и вечерней молитве. Впоследствии она где-то достала гравированный портрет Бухана, и четыре стиха, напечатанные под его портретом на французском языке, были кем-то переведены русскими стихами, написаны красиво на бумажке и наклеены сверх французских. Все это, к сожалению, давно исчезло без следа.

Я приписываю мое спасение, кроме первой вышеприведенной причины, без которой ничто совершиться не могло, – неусыпному уходу, неослабному попечению, безграничному вниманию матери и дороге, то есть движению и воздуху. Внимание и попечение было вот какое: постоянно нуждаясь в деньгах, перебиваясь, как говорится, с копейки на копейку, моя мать доставала старый рейнвейн в Казани, почти за пятьсот верст, через старинного приятеля своего покойного отца, кажется доктора Рейслейна, за вино платилась неслыханная тогда цена, и я пил его понемногу, несколько раз в день. В городе Уфе не было тогда так называемых французских белых хлебов – и каждую неделю, то есть каждую почту, щедро вознаграждаемый почтальон привозил из той же Казани по три белых хлеба. Я сказал об этом для примера; точно то же соблюдалось во всем. Моя мать не давала потухнуть во мне догоравшему светильнику жизни; едва он начинал угасать, она питала его магнетическим изливанием собственной жизни, собственного дыхания. Прочла ли она об этом в какой-нибудь книге или сказал доктор – не знаю. Чудное целительное действие дороги не подлежит сомнению. Я знал многих людей, от которых отступались доктора, обязанных ей своим выздоровлением. Я считаю также, что двенадцатичасовое лежанье в траве на лесной поляне дало первый благотворный толчок моему расслабленному телесному организму. Не один раз я слышал от матери, что именно с этого времени сделалась маленькая перемена к лучшему.

Последовательные воспоминания

После моего выздоровления я начинаю помнить себя уже дитятей, не крепким и резвым, каким я сделался впоследствии, но тихим, кротким, необыкновенно жалостливым, большим трусом и в то же время беспрестанно, хотя медленно, уже читающим детскую книжку с картинками под названием «Зеркало добродетели». Как и когда я выучился читать, кто меня учил и по какой методе – решительно не знаю; но писать я учился гораздо позднее и как-то очень медленно и долго. Мы жили тогда в губернском городе Уфе и занимали огромный зубинский деревянный дом, купленный моим отцом, как я после узнал, с аукциона за триста рублей ассигнациями. Дом был обит тесом, но не выкрашен; он потемнел от дождей, и вся эта громада имела очень печальный вид. Дом стоял на кособоре, так что окна в сад были очень низки от земли, а окна из столовой на улицу, на противоположной стороне дома, возвышались аршина три над землей; парадное крыльцо имело более двадцати пяти ступенек, и с него была видна река Белая почти во всю свою ширину. Две детские комнаты, в которых я жил вместе с сестрой, выкрашенные по штукатурке голубым цветом, находившиеся возле спальни, выходили окошками в сад, и посаженная под ними малина росла так высоко, что на целую четверть заглядывала к нам в окна, что очень веселило меня и неразлучного моего товарища – маленькую сестрицу. Сад, впрочем, был хотя довольно велик, но некрасив: кое-где ягодные кусты смородины, крыжовника и барбариса, десятка два-три тощих яблонь, круглые цветники с ноготками, шафранами и астрами, и ни одного большого дерева, никакой тени; но и этот сад доставлял нам удовольствие, особенно моей сестрице, которая не знала ни гор, ни полей, ни лесов; я же изъездил, как говорили, более пятисот верст: несмотря на мое болезненное состояние, величие красот божьего мира незаметно ложилось на детскую душу и жило без моего ведома в моем воображении; я не мог удовольствоваться нашим бедным городским садом и беспрестанно рассказывал моей сестре, как человек бывалый, о разных чудесах, мною виденных; она слушала с любопытством, устремив на меня полные напряженного внимания свои прекрасные глазки, в которых в то же время ясно выражалось: «Братец, я ничего не понимаю». Да и что мудреного: рассказчику только пошел пятый год, а слушательнице – третий.

Я сказал уже, что был робок и даже трусоват; вероятно, тяжкая и продолжительная болезнь ослабила, утончила, довела до крайней восприимчивости мои нервы, а может быть, и от природы я не имел храбрости. Первые ощущения страха поселили во мне рассказы няньки. Хотя она, собственно, ходила за сестрой моей, а за мной только присматривала, и хотя мать строго запрещала ей даже разговаривать со мною, но она иногда успевала сообщить мне кое-какие известия о буке, о домовых и мертвецах. Я стал бояться ночной темноты и даже днем боялся темных комнат. У нас в доме была огромная зала, из которой две двери вели в две небольшие горницы, довольно темные, потому что окна из них выходили в длинные сени, служившие коридором; в одной из них помещался буфет, а другая была заперта; она некогда служила рабочим кабинетом покойному отцу моей матери; там были собраны все его вещи: письменный стол, кресло, шкаф с книгами и проч. Нянька сказала мне, что там видят иногда покойного моего дедушку Зубина, сидящего за столом и разбирающего бумаги. Я так боялся этой комнаты, что, проходя мимо нее, всегда зажмуривал глаза. Один раз, идучи по длинным сеням, забывшись, я взглянул в окошко кабинета, вспомнил рассказ няньки, и мне почудилось, что какой-то старик в белом шлафроке сидит за столом. Я закричал и упал в обморок. Матери моей не было дома. Когда она воротилась и я рассказал ей обо всем случившемся и обо всем, слышанном мною от няни, она очень рассердилась: приказала отпереть дедушкин кабинет, ввела меня туда, дрожащего от страха, насильно и показала, что там никого нет и что на креслах висело какое-то белье. Она употребила все усилия растолковать мне, что такие рассказы – вздор и выдумки глупого невежества. Няньку мою она прогнала и несколько дней не позволяла

ей входить в нашу детскую. Но крайность заставила призвать эту женщину и опять приставить к нам; разумеется, строго запретили ей рассказывать подобный вздор и взяли с нее клятвенное обещание никогда не говорить о простонародных предрассудках и поверьях; но это не вылечило меня от страха. Нянька наша была странная старуха, она была очень к нам привязана, и мы с сестрой ее очень любили. Когда ее сослали в людскую и ей не позволено было даже входить в дом, она прокрадывалась к нам ночью, целовала нас сонных и плакала. Я это видел сам, потому что один раз ее ласки разбудили меня. Она ходила за нами очень усердно, но, по закоренелому упрямству и невежеству, не понимала требований моей матери и потихоньку делала ей всё наперекор. Через год ее совсем отослали в деревню. Я долго тосковал: я не умел понять, за что маменька так часто гневалась на добрую няню, и оставался в том убеждении, что мать просто ее не любила.

Я всякий день читал свою единственную книжку «Зеркало добродетели» моей маленькой сестрице, никак не догадываясь, что она еще ничего не понимала, кроме удовольствия смотреть картинки. Эту детскую книжку я знал тогда наизусть всю; но теперь только два рассказа и две картинки из целой сотни остались у меня в памяти, хотя они, против других, ничего особенного не имеют. Это «Признательный лев» и «Сам себя одевающий мальчик». Я помню даже физиономию льва и мальчика! Наконец, «Зеркало добродетели» перестало поглощать мое внимание и удовлетворять моему ребячьему любопытству, мне захотелось почитать других книжек, а взять их решительно было негде; тех книг, которые читывали иногда мой отец и мать, мне читать не позволяли. Я принялся было за Домашний лечебник Бухана, но и это чтение мать сочла почему-то для моих лет неудобным; впрочем, она выбирала некоторые места и, отмечая их закладками, позволяла мне их читать; и это было в самом деле интересное чтение, потому что там описывались все травы, соли, корни и все медицинские снадобья, о которых только упоминается в лечебнике. Я перечитывал эти описания уже гораздо в позднейшем возрасте и всегда с удовольствием, потому что все это изложено и переведено на русский язык очень толково и хорошо.

Благотельная судьба скоро послала мне неожиданное новое наслаждение, которое произвело на меня сильнейшее впечатление и много расширило тогдашний круг моих понятий. Против нашего дома жил в собственном же доме С. И. Аничков, старый, богатый холостяк, слышавший очень умным и даже ученым человеком; это мнение подтверждалось тем, что он был когда-то послан депутатом от Оренбургского края в известную комиссию, собранную Екатериною Второй для рассмотрения существующих законов. Аничков очень гордился, как мне рассказывали, своим депутатством и смело поговаривал о своих речах и действиях, не принесших, впрочем, по его собственному признанию, никакой пользы. Аничкова не любили, а только уважали и даже прибаивались его резкого языка и негибкого нрава. К моему отцу и матери он благоволил и даже давал взаймы денег, которых просить у него никто не смел. Он услышал как-то от моих родителей, что я мальчик прилежный и очень люблю читать книжки, но что читать нечего. Старый депутат, будучи просвещеннее других, естественно, был покровителем всякой любознательности. На другой день вдруг присылает он человека за мною; меня повел сам отец. Аничков, расспросив хорошенько, что я читал, как понимаю прочитанное и что помню, остался очень доволен; велел подать связку книг и подарил мне... о счастье!.. «Детское чтение для сердца и разума», изданное безденежно при «Московских ведомостях» Н. И. Новиковым. Я так обрадовался, что чуть не со слезами бросился на шею старику и, не помня себя, запрыгал и побежал домой, оставя своего отца беседовать с Аничковым. Помню, однако, благосклонный и одобрительный хохот хозяина, загремевший в моих ушах и постепенно умолкавший по мере моего удаления. Боясь, чтоб кто-нибудь не отнял моего сокровища, я пробежал прямо через сени в детскую, лег в свою кроватку, закрылся пологом, развернул первую часть – и позабыл все меня окружающее. Когда отец воротился и со смехом рассказал матери все происходившее у Аничкова, она очень встревожилась, потому что и не знала о моем возвращении. Меня отыс-

кали лежащего с книжкой. Мать рассказывала мне потом, что я был точно как помешанный: ничего не говорил, не понимал, что мне говорят, и не хотел идти обедать. Должны были отнять книжку, несмотря на горькие мои слезы. Угроза, что книги отнимут совсем, заставила меня удержаться от слез, встать и даже обедать. После обеда я опять схватил книжку и читал до вечера. Разумеется, мать положила конец такому исступленному чтению: книги заперла в свой комод и выдавала мне по одной части, и то в известные, назначенные ею, часы. Книжек всего было двенадцать, и те не по порядку, а разрозненные. Оказалось, что это не полное собрание «Детского чтения», состоявшего из двадцати частей. Я читал свои книжки с восторгом и, несмотря на разумную бережливость матери, прочел все с небольшим в месяц. В детском уме моем произошел совершенный переворот, и для меня открылся новый мир... Я узнал в «рассуждении о громах», что такое молния, воздух, облака; узнал образование дождя и происхождение снега. Многие явления в природе, на которые я смотрел бессмысленно, хотя и с любопытством, получили для меня смысл, значение и стали еще любопытнее. Муравьи, пчелы и особенно бабочки с своими превращениями из яичек в червяка, из червяка в хризалиду и, наконец, из хризалиды в красивую бабочку – овладели моим вниманием и сочувствием; я получил непреодолимое желание все это наблюдать своими глазами. Собственно нравоучительные статьи производили менее впечатления, но как забавляли меня «смешной способ ловить обезьян» и басня «о старом волке», которого все пастухи от себя прогоняли! Как восхищался я «золотыми рыбками»!

С некоторого времени стал я замечать, что мать моя нездорова. Она не лежала в постели, но худела, бледнела и теряла силы с каждым днем. Нездоровье началось давно, но я этого сперва не видел и не понимал причины, от чего оно происходило. Только впоследствии узнал я из разговоров меня окружавших людей, что мать сделалась больна от телесного истощения и душевных страданий во время моей болезни. Ежеминутная опасность потерять страстно любимое дитя и усилия сохранить его напрягали ее нервы и придавали ей неестественные силы и как бы искусственную бодрость; но когда опасность миновалась – общая энергия упала, и мать начала чувствовать ослабление: у нее заболела грудь, бок, и, наконец, появилось лихорадочное состояние; те же самые доктора, которые так безуспешно лечили меня и которых она бросила, принялись лечить ее. Я услышал, как она говорила моему отцу, что у нее начинается чахотка. Я не знаю, до какой степени это было справедливо, потому что больная была, как все утверждали, очень мнительна, и не знаю, притворно или искренне, но мой отец и доктора уверяли ее, что это неправда. Я имел уже смутное понятие, что чахотка какая-то ужасная болезнь. Сердце у меня замерло от страха, и мысль, что я причиною болезни матери, мучила меня беспрестанно. Я стал плакать и тосковать, но мать умела как-то меня разуверить и успокоить, что было и нетрудно при ее беспредельной нравственной власти надо мною.

Не имея полной доверенности к искусству уфимских докторов, мать решила ехать в Оренбург, чтоб посоветоваться там с доктором Деобольтом, который славился во всем крае чудесными излечениями отчаянно больных. Она сама сказала мне об этом с веселым видом и уверила, что возвратится здоровою. Я совершенно поверил, успокоился, даже повеселел и начал приставать к матери, чтоб она ехала поскорее. Но для этой поездки надобно было иметь деньги, а притом куда девать, на кого оставить двух маленьких детей? Я вслушивался в беспрестанные разговоры об этом между отцом и матерью и наконец узнал, что дело уладилось: денег дал тот же мой книжный благодетель С. И. Аничков, а детей, то есть нас с сестрой, решили завезти в Багрово и оставить у бабушки с дедушкой. Я был очень доволен, узнав, что мы поедем на своих лошадях и что будем в поле кормить. У меня сохранилось неясное, но самое приятное воспоминание о дороге, которую мой отец очень любил; его рассказы о ней и еще более о Багрове, обещавшие множество новых, еще неизвестных мне удовольствий, воспламенили мое ребячье воображение. Дедушку с бабушкой мне также хотелось видеть, потому что я хотя и видел их, но помнить не мог: в первый мой приезд в Багрово мне было восемь месяцев;

но мать рассказывала, что дедушка был нам очень рад и что он давно зовет нас к себе и даже сердится, что мы в четыре года ни разу у него не побывали. Моя продолжительная болезнь, медленное выздоровление и потом нездоровье матери были тому причиной. Впрочем, мой отец ездил прошлого года в Багрово, однако на самое короткое время. По обыкновению, вследствие природного моего свойства делиться моими впечатлениями с другими, все мои мечты и приятные надежды я рассказал и старался растолковать маленькой моей сестрице, а потом объяснять и всем меня окружавшим. Начались сборы. Я собрался прежде всех: уложил свои книжки, то есть «Детское чтение» и «Зеркало добродетели», в которое, однако, я уже давно не заглядывал; не забыл также и чурочки, чтоб играть ими с сестрицей; две книжки «Детского чтения», которые я перечитывал уже в третий раз, оставил на дорогу и с радостным лицом прибежал сказать матери, что я готов ехать и что мне жаль только оставить Сурку. Мать сидела в креслах, печальная и утомленная сборами, хотя она распоряжалась ими, не вставая с места. Она улыбнулась моим словам и так взглянула на меня, что я хотя не мог понять выражения этого взгляда, но был поражен им. Сердце у меня опять замерло, и я готов был заплакать; но мать приласкала меня, успокоила, ободрила и приказала мне идти в детскую – читать свою книжку и занимать сестрицу, прибавя, что ей теперь некогда с нами быть и что она поручает мне смотреть за сестрою; я повиновался и медленно пошел назад: какая-то грусть вдруг отравила мою веселость, и даже мысль, что мне поручают мою сестрицу, что в другое время было бы мне очень приятно и лестно, теперь не утешила меня. Сборы продолжались еще несколько дней, наконец все было готово.

Дорога до Парашина

В жаркое летнее утро, это было в исходе июля, разбудили нас с сестрой ранее обыкновенного: напоили чаем за маленьким нашим столиком; подали карету к крыльцу, и, помолившись Богу, мы все пошли садиться. Для матери было так устроено, что она могла лежать; рядом с нею сел отец, а против него нянька с моей сестрицей, я же стоял у каретного окна, придерживаемый отцом и помещаясь везде, где открывалось местечко. Спуск к реке Белой был так крут, что понадобилось подтормозить два колеса. Мы с отцом и няня с сестрицей шли с горы пешком.

Здесь начинается ряд еще не испытанных мною впечатлений. Я не один уже раз переправлялся через Белую, но, по тогдашнему болезненному моему состоянию и почти младенческому возрасту, ничего этого не заметил и не почувствовал; теперь же я был поражен широкою и быстрою рекою, отлогими песчаными ее берегами и зеленою уремой на противоположном берегу. Нашу карету и повозку стали грузить на паром, а нам подали большую косную лодку, на которую мы все должны были перейти по двум доскам, положенным с берега на край лодки; перевозчики в пестрых мордовских рубахах, бредя по колени в воде, повели под руки мою мать и няньку с сестрицей; вдруг один из перевозчиков, рослый и загорелый, схватил меня на руки и понес прямо по воде в лодку, а отец пошел рядом по дощечке, улыбаясь и ободряя меня, потому что я, по своей трусости, от которой еще не освободился, очень испугался такого неожиданного путешествия. Четверо гребцов сели в весла, перенесший меня человек взялся за кормовое весло, оттолкнулись от берега шестом, все пятеро перевозчиков перекрестились, кормчий громко сказал: «Призывай Бога на помочь», и лодка полетела поперек реки, скользя по вертящейся быстрине, бегущей у самого берега, называющейся «стремя». Я был так поражен этим невиданным зрелищем, что совершенно онемел и не отвечал ни одного слова на вопросы отца и матери. Все смеялись, говоря, что от страха у меня язык отнялся, но это было не совсем справедливо: я был подавлен не столько страхом, сколько новостью предметов и величию картины, красоту которой я чувствовал, хотя объяснить, конечно, не умел. Когда мы стали подплывать к другому, отлогому берегу и, по мелкому месту, пошли на шестах к пристани, я уже совершенно опомнился, и мне стало так весело, как никогда не бывало. Белые, чистые пески с грядами разноцветной гальки, то есть камешков, широко расстилались перед нами. Один из гребцов соскочил в воду, подвел лодку за носовую веревку к пристани и крепко привязал к причалу; другой гребец сделал то же с кормою, и мы все преспокойно вышли на пристань. Сколько новых предметов, сколько новых слов! Тут мой язык уже развязался, и я с большим любопытством стал расспрашивать обо всем наших перевозчиков. Я не могу забыть, как эти добрые люди ласково, просто и толково отвечали мне на мои бесчисленные вопросы и как они были благодарны, когда отец дал им что-то за труды. С нами на лодке был ковер и подушки, мы разостлали их на сухом песке, подальше от воды, потому что мать боялась сырости, и она прилегла на них, меня же отец повел набирать галечки. Я не имел о них понятия и пришел в восхищение, когда отец отыскал мне несколько прекрасных, гладких, блестящих разными цветами камешков, из которых некоторые имели очень красивую, затейливую фигуру. В самом деле, нигде нельзя отыскать такого разнообразия гальки, как на реке Белой; в этом я убедился впоследствии. Мы тут же нашли несколько окаменелостей, которые и после долго у нас хранились и которые можно назвать редкостью; это был большой кусок пчелиного сота и довольно большая лепешка или кучка рыбьей икры, совершенно превратившаяся в камень. Переправа кареты, кибитки и девяти лошадей продолжалась довольно долго, и я успел набрать целую кучу чудесных, по моему мнению, камешков; но я очень огорчился, когда отец не позволил мне их взять с собою, а выбрал только десятка полтора, сказав, что все остальные дрянь; я доказывал противное, но меня не послушали, и я с большим сожалением оставил набранную мною кучку. Мы сели в карету и отправились в дальнейший путь. Мать как будто освежилась на открытом

воздухе, и я с жаром начал ей показывать и рассказывать о найденных мною драгоценностях, которыми были набиты мои карманы; камешки очень понравились моей сестрице, и некоторые из них я подарил ей. В нашей карете было много дорожных ящичков, один из них мать опростала и отдала в мое распоряжение, и я с большим старанием уложил в него свои сокровища.

Сначала дорога шла лесистой уремой; огромные дубы, вязы и осокори поражали меня своею громадностью, и я беспрестанно вскрикивал: «Ах, какое дерево! Как оно называется?» Отец удовлетворял моему любопытству; дорога была песчана, мы ехали шагом, люди шли пешком; они срывали мне листья и ветки с разных деревьев и подавали в карету, и я с большим удовольствием рассматривал и замечал их особенности. День был очень жаркий, и мы, отъехав верст пятнадцать, остановились покормить лошадей собственно для того, чтоб мать моя не слишком утомилась от перевоза через реку и переезда. Эта первая кормежка случилась не в поле, а в какой-то русской деревушке, которую я очень мало помню; но зато отец обещал мне на другой день кормежку на реке Деме, где хотел показать мне какую-то рыбную ловлю, о которой я знал только по его же рассказам. Во время отдыха в поднавесе крестьянского двора отец мой занимался приготовлением удочек для меня и для себя. Это опять было для меня новое удовольствие. Выдернули волос из лошадиных хвостов и принялись сучить лесы; я сам держал связанные волосы, а отец вил из них тоненькую ниточку, называемую лесом. Нам помогал Ефрем Евсеев, очень добрый и любивший меня слуга. Он не вил, а сучил как-то на своей коленке толстые лесы для крупной рыбы; грузила и крючки, припасенные заранее, были прикреплены и навязаны, и все эти принадлежности, узванные мною в первый раз, были намотаны на палочки, завернуты в бумажки и положены для сохранения в мой ящик. С каким вниманием и любопытством смотрел я на эти новые для меня предметы, как скоро понимал их назначение и как легко и твердо выучивал их названия! Ночевать мы должны были в татарской деревне, но вечер был так хорош, что матери моей захотелось остановиться в поле; итак, у самой околицы своротили мы немного в сторону и расположились на крутом берегу маленькой речки. Ночевки в поле никто не ожидал. Отец думал, что мать побоится ночной сырости; но место было необыкновенно сухо, никаких болот, и даже лесу не находилось поблизости, потому что начиналась уже башкирская степь; даже влажности ночного воздуха не было слышно. Для меня опять готовилось новое зрелище; отложили лошадей, хотели спутать и пустить в поле, но как степные травы погорели от солнца и завяли, то послали в деревню за свежим сеном и овсом и за всякими съестными припасами. Люди принялись разводить огонь: один принес сухую жердь от околицы, изрубил ее на поленья, настрогал стружек и наколол лучины для подтопки, другой притащил целый ворох хворосту с речки, а третий, именно повар Макей, достал кремень и огниво, вырубил огня на большой кусок труту, завернул его в сухую куделю (ее возили нарочно с собой для таких случаев), взял в руку и начал проворно махать взад и вперед, вниз и вверх и махал до тех пор, пока куделя вспыхнула; тогда подложили огонь под готовый костер дров со стружками и лучиной – и пламя запылало. Стали накладывать дорожный самовар; на разостланном ковре и на подушках лежала мать и готовилась наливать чай; она чувствовала себя бодрее. Я попросил позволения развести маленький огонек возле того места, где мы сидели, и когда получил позволение, то, не помня себя от радости, принялся хлопотать об этом с помощью Ефрема, который в дороге вдруг сделался моим как будто дядькой. Разведение огня доставило мне такое удовольствие, что я и пересказать не могу; я беспрестанно бегал от большого костра к маленькому, приносил щепочек, прутьев и сухого бастыльнику для поддержания яркого пламени и так суетился, что мать принуждена была посадить меня насильно подле себя. Мы напились чаю и поели супу из курицы, который сварил нам повар. Мать расположилась ночевать с детьми в карете, а отец – в кибитке. Мать скоро легла и положила с собой мою сестрицу, которая давно уже спала на руках у няньки; но мне не хотелось спать, и я остался посидеть с отцом и поговорить о завтрашней кормежке, которую я ожидал с радостным нетерпением; но посреди разговоров мы оба как-то задумались и долго просидели, не

говоря ни одного слова. Небо сверкало звездами, воздух был наполнен благовонием от засыхающих степных трав, речка журчала в овраге, костер пылал и ярко освещал наших людей, которые сидели около котла с горячей кашницей, хлебали ее и весело разговаривали между собою; лошади, припущенные к овсу, также были освещены с одной стороны полосой света... «Не пора ли спать тебе, Сережа?» – сказал мой отец после долгого молчания; поцеловал меня, перекрестил и бережно, чтоб не разбудить мать, посадил в карету. Я не вдруг заснул. Столько увидел и узнал я в этот день, что детское мое воображение продолжало представлять мне в каком-то смещении все картины и образы, носившиеся предо мною. А что же будет завтра, на чудесной Деме... Наконец сон одолел меня, и я заснул в каком-то блаженном упоении.

С ночевки поднялись так рано, что еще не совсем было светло, когда отец сел к нам в карету. Он сел с большим трудом, потому что от спавших детей стало теснее. Я видел, будто сквозь сон, как он садился, как тронулась карета с места и шагом проезжала через деревню, и слышал, как лай собак долго провожал нас; потом крепко заснул и проснулся, когда уже мы проехали половину степи, которую нам надобно было перебить поперек и проехать сорок верст, не встретив жилья человеческого. Когда я открыл глаза, все уже давно проснулись, даже моя сестрица сидела на руках у отца, смотрела в отворенное окно и что-то весело лепетала. Мать сказала, что чувствует себя лучше, что она устала лежать и что ей хочется посидеть. Мы остановились и все вышли из кареты, чтоб переладить в ней ночное устройство на дневное. Степь, то есть безлесная и волнообразная бесконечная равнина, окружала нас со всех сторон; кое-где виднелись деревья и синелось что-то вдаль; отец мой сказал, что там течет Дема и что это синее ее гористая сторона, покрытая лесом. Степь не была уже так хороша и свежа, как бывает весною и в самом начале лета, какую описывал ее мне отец и какую я после сам узнал ее: по долочкам трава была скошена и сметана в стога, а по другим местам она выгорела от летнего солнца, засохла и пожелтела, и уже сизый ковыль, еще не совсем распустившийся, еще не побелевший, расстилался, как волны, по необозримой равнине; степь была тиха, и ни один птичий голос не оживлял этой тишины; отец толковал мне, что теперь вся степная птица уже не кричит, а прячется с молодыми детьми по низким ложбинкам, где трава выше и гуще. Мы уселись в карете по-прежнему и взяли к себе няню, которая опять стала держать на руках мою сестрицу. Мать весело разговаривала с нами, и я неумолкаемо болтал о вчерашнем дне; она напомнила мне о моих книжках, и я признался, что даже позабыл о них. Я достал, однако, одну часть «Детского чтения» и стал читать, но был так развлечен, что в первый раз чтение не овладело моим вниманием и, читая громко вслух: «Канарейки, хорошие канарейки, так кричал мужик под Машиним окошком» и проч., я думал о другом и всего более о текущей там, вдалеке, Деме. Видя мою рассеянность, отец с матерью не могли удержаться от смеха, а мне было как-то досадно на себя и неловко. Наконец, кончив повесть об умершей с голоду канарейке и не разжалобясь, как бывало прежде, я попросил позволения закрыть книжку и стал смотреть в окно, пристально следя за синеющею в стороне далью, которая как будто сближалась с нами и шла пересечь нашу дорогу; дорога начала неприметно склоняться под изволок, и кучер Трофим, тряхнув вожжами, весело крикнул: «Эх вы, милые, пошевеливайтесь! Недалеко до Демы!...» И добрые кони наши побежали крупную рысью. Уже обозначилась зеленеющая долина, по которой текла река, ведя за собою густую, также зеленую урему. «А вон, Сережа, – сказал отец, выглянув в окно, – видишь, как прямо к Деме идет тоже зеленая полоса и как в разных местах по ней торчат беловатые острые шиши? Это башкирские войлочные кибитки, в которых они живут по летам, это башкирские «кочи». Кабы было поближе, я сводил бы тебя посмотреть на них. Ну, да когда-нибудь после». Я с любопытством рассматривал видневшиеся вдалеке летние жилища башкирцев и пасущиеся кругом их стада и табуны. Обо всем этом я слышал от отца, но видел своими глазами в первый раз. Вот уже открылась и река, и множество озер, и прежнее русло Демы, по которому она текла некогда, которое тянулось длинным рукавом и называлось *Старицей*. Спуск в широкую зеленую долину был крут и косогорист; надобно

было тормозить карету и спускаться осторожно; это замедление раздражало мою нетерпеливость, и я бросался от одного окошка к другому и суетился, как будто мог ускорить приближение желанной кормежки. Мне велели сидеть смиренно на месте, и я должен был нехотя угомониться. Но вот мы наконец на берегу Демы, у самого перевоза; карета своротила в сторону, остановилась под тенью исполинского осокоря, дверцы отворились, и первый выскочил я – и так проворно, что забыл свои удочки в ящике. Отец, улыбнувшись, напомнил мне о том и на мои просьбы идти поскорее удить сказал мне, чтоб я не торопился и подождал, покуда он все уладит около моей матери и распорядится кормом лошадей. «А ты погуляй покуда с Ефремом, посмотри на перевоз да червячков приготовь». Я схватил Ефрема за руку, и мы пошли на перевоз. Величавая, полноводная Дема, не широкая, не слишком быстрая, с какою-то необыкновенною красотою, тихо и плавно, наравне с берегами, расстилалась передо мной. Мелкая и крупная рыба металась беспрестанно. Сердце так и стучало у меня в груди, и я вздрагивал при каждом всплеске воды, когда щука или жерех выскакивали на поверхность, гоняясь за мелкой рыбкой. По обоим берегам реки было врыто по толстому столбу, к ним крепко был привязан мокрый канат толщиной в руку; по канату ходил плот, похожий устройством на деревянный пол в комнате, утверждённый на двух выдолбленных огромных деревянных колодах, которые назывались там «комягами». Скоро я увидел, что один человек мог легко перегонять этот плот с одного берега на другой. Двое перевозчиков были башкирцы, в остроконечных своих войлочных шапках, говорившие ломаным русским языком. Ефрем, или Евсеич, как я его звал, держа меня крепко за руку, вошел со мною на плот и сказал одному башкирцу: «Айда знаком, гуляй на другой сторона». И башкирец очень охотно, отвязав плот от причала, засучив свои жилистые руки, став лицом к противоположному берегу, упершись ногами, начал тянуть к себе канат обеими руками, и плот, отделяясь от берега, поплыл поперек реки; через несколько минут мы были на том берегу, и Евсеич, все держа меня за руку, походив по берегу, повысмотрев выгодных мест для ужения, до которого был страстный охотник, таким же порядком воротился со мною назад. Тут начал он толковать с обоими перевозчиками, которые жили постоянно на берегу в плетеном шалаше; немилосердно коверкая русский язык, думая, что так будет понятнее, и примешивая татарские слова, спрашивал он: где бы отыскать нам червячков для ужения. Один из башкирцев скоро догадался, о чем идет дело, и отвечал: «Екши, екши, бачка, ладно! Айда» – и повел нас под небольшую поветь, под которой стояли две лошади в защите от солнца: там мы нашли в изобилии, чего желали. Подойдя к карете, я увидел, что все было устроено: мать расположилась в тени кудрявого осокоря, погребец был раскрыт, и самовар закипал. Все припасы для обеда были закуплены с вечера в татарской деревне, не забыли и овса, а свежей, сейчас накошенной травы для лошадей купили у башкирцев. Великолепная урема окружала нас. Необыкновенное разнообразие ягодных деревьев и других древесных пород, живописно перемешанных, поражало своей красотой. Толстые, как бревна, черемухи были покрыты уже потемневшими ягодами; кисти рябины и калины начинали краснеть; кусты черной спелой смородины распространяли в воздухе свой ароматический запах; гибкие и цепкие стебли ежевики, покрытые крупными, еще зелеными ягодами, обвивались около всего, к чему только прикасались; даже малины было много. На все это очень любовался и указывал мне отец; но, признаюсь, удочка так засела у меня в голове, что я не мог вполне почувствовать окружающую меня пышную и красивую урему. Как только мы напились чаю, я стал просить отца, чтоб он показал мне ужение. Наконец мы пошли, и Евсеич с нами. Он уже вырубил несколько вязовых удилиц, наплавки сделали из толстого зеленого камыша, лесы привязали и стали удить с плота, поверя словам башкирцев, что тут «ай-ай, больно хороша берет рыба». Евсеич приготовил мне самое легонькое удилице и навязал тонкую лесу с маленьким крючком; он насадил крошечный кусочек мятого хлеба, закинул удочку и дал мне удилице в правую руку, а за левую крепко держал меня отец; ту же минуту наплавков привстал и погрузился в воду, Евсеич закричал: «Тащи, тащи...» – и я с большим трудом вытащил порядочную плотичку. Я весь дрожал, как

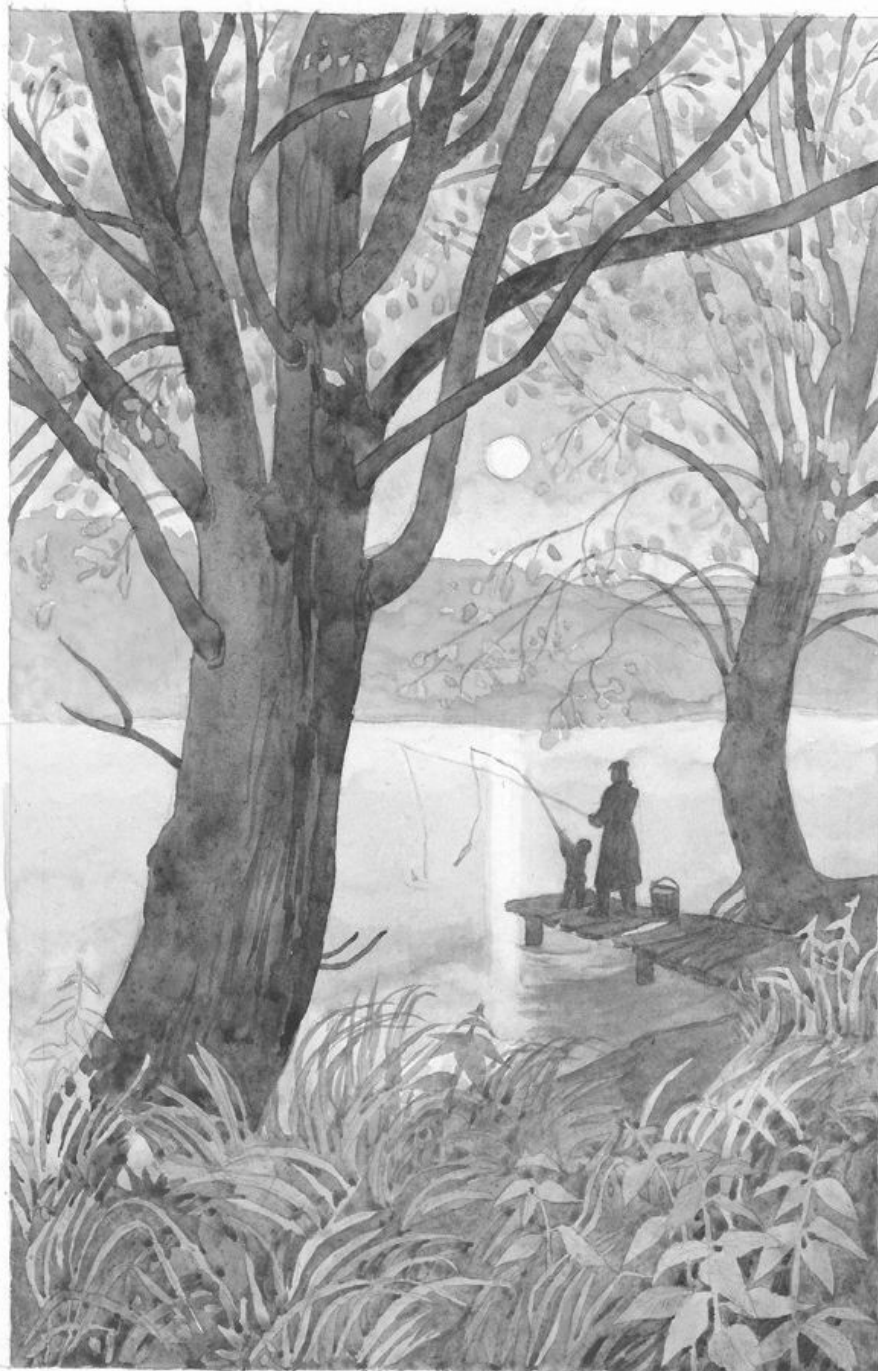
в лихорадке, и совершенно не помнил себя от радости. Я схватил свою добычу обеими руками и побежал показать ее матери; Евсеич провожал меня. Мать не хотела верить, чтоб я мог сам поймать рыбу, но, задыхаясь и заикаясь от горячности, я уверял ее, ссылаясь на Евсеича, что точно я вытащил сам эту прекрасную рыбку; Евсеич подтвердил мои слова. Мать не имела расположения к ужению, даже не любила его, и мне было очень больно, что она холодно приняла мою радость; а к большому горю, мать, увидя меня в таком волнении, сказала, что это мне вредно, и прибавила, что не пустит, покуда я не успокоюсь. Она посадила меня подле себя и послала Евсеича сказать моему отцу, что придет Сережу, когда он отдохнет и придет в себя. Это был для меня неожиданный удар; слезы так и брызнули из моих глаз, но мать имела твердость не пустить меня, покуда я не успокоился совершенно. Немного погодя отец сам пришел за мной. Мать была недовольна. Она сказала, что, отпуская меня, и не воображала, что я сам стану удить. Но отец уговорил мать позволить мне на этот раз поймать еще несколько рыбок, и мать, хотя не скоро, согласилась. Как я благодарил моего отца! Я не знаю, что бы случилось со мной, если б меня не пустили. Мне кажется, я бы непременно захворал с горя. Сестрица стала проситься со мной, и как ужение было всего шагах в пятидесяти, то отпустили и ее с няней посмотреть на наше рыболовство. Когда мы пришли, отец показал мне несколько крупных окуней и плотниц, которых он выудил без меня: другая рыба в это время не брала, потому что было уже поздно и жарко, как объяснял мне Евсеич. Я выудил еще несколько плотичек, и всякий раз почти с таким же восхищением, как и первую. Но как мать отпустила меня на короткое время, то мы скоро воротились. Отец приказал повару Макею сварить и зажарить несколько крупных окуней, а всю остальную рыбу отдал людям, чтоб они сварили себе уху.

Ris_05

Ужение просто свело меня с ума! Я ни о чем другом не мог ни думать, ни говорить, так что мать сердилась и сказала, что не будет меня пускать, потому что я от такого волнения могу захворать; но отец уверял ее, что это случилось только в первый раз и что горячность моя пройдет; я же был уверен, что никогда не пройдет, и слушал с замирающим сердцем, как решается моя участь. Удочка, дрожащий и ныряющий наплавок, согнутое от тяжести удилище, рыба, трепещущая на лесе, приводили меня при одном воспоминании в восторг, в самозабвение. Все остальное время на кормежке я был невесел и не смел разговаривать о рыбках ни с отцом, ни с сестрицей, да и все были как будто чем-то недовольны. В таком расположении духа отправились мы в дальнейший путь. Мать дорогой принялась мне растолковывать, почему нехорошо так безумно предаваться какой-нибудь забаве, как это вредно для здоровья, даже опасно; она говорила, что, забывая все другие занятия для какой-нибудь охоты, и умный мальчик может поглупеть, и что вот теперь, вместо того чтоб весело смотреть в окошко, или читать книжку, или разговаривать с отцом и матерью, я сижу молча, как будто опущенный в воду. Все это она говорила и нежно и ласково, и я как будто почувствовал правду ее слов, успокоился несколько и начал вслух читать свою книжку. Между тем к вечеру пошел дождь, дорога сделалась грязна и тяжела; высунувшись из окошка, я видел, как налипала земля к колесам и потом отваливалась от них толстыми пластами; мне это было любопытно и весело, а лошадам нашим накладно, и они начинали приставать. Кучер Трофим, наклонясь к переднему окну, сказал моему отцу, что дорога стала тяжела, что нам не доехать засветло до Парашина, что мы больно запоздаем и лошадей *перегоним*, и что не прикажет ли он заехать для ночевки в чувашскую деревню, мимо околицы которой мы будем проезжать. Отец мой и сам уже говорил об этом; мы поутру проехали сорок верст да после обеда надо было проехать сорок пять – это было уже слишком много, а потому он согласился на предложение Трофима. Хотя матери моей и не хотелось бы ночевать в Чуваших, которые по неопрятности своей были ей противны, но делать было нечего, и последовало приказание: завернуть в чувашскую деревню для ночевки. Мы не доехали до Парашина пятнадцати верст. Через несколько минут своротили с дороги и въехали в селение без улиц; избы были разбросаны в беспорядке; всякий хозяин поселился там,

где ему угодно, и к каждому двору был свой проезд. Солнце, закрытое облаками, уже садилось, дождь продолжался, и наступали ранние сумерки; мы были встречены страшным лаем собак, которых чувашки держат еще больше, чем татары. Лай этот, неумолкаемо продолжавшийся и во всю ночь, сливался тогда с резким бормотаньем визгливых чувашек, с звяканьем их медных и серебряных подвесок и бранью наших людей, потому что хозяева прятались, чтоб избавиться от постояльцев. Долго звенела в ушах у нас эта пронзительная музыка. Наконец отыскали выборного, как он ни прятался, должность которого на этот раз за отсутствием мужа исправляла его жена чувашка; она отвела нам квартиру у богатого чувашенина, который имел несколько изб, так что одну из них очистили совершенно для нас. В карете оставаться было сыро, и мы немедленно вошли в избу, уже освещенную горячей лучиной. Тут опять явились для меня новые, невиданные предметы: прежде всего кинулся мне в глаза наряд чувашских женщин: они ходят в белых рубашках, вышитых красной шерстью, носят какие-то черные хвосты, а головы их и грудь увешаны серебряными, и крупными и самыми мелкими, деньгами: все это звенит и брякает на них при каждом движении. Потом изумили меня огромная изба, закопченная дымом и покрытая лоснящейся сажой с потолка до самых лавок, – широкие, устланные поперек досками лавки, называющиеся «нарами», печь без трубы и, наконец, горящая лучина вместо свечи, ущемленная в так называемый светец, который есть не что иное, как железная полоска, разрубленная сверху натрое и воткнутая в деревянную палку с подножкой, так что она может стоять где угодно. В избе не было никакой нечистоты, но только пахло дымом, и напротив. Мы расположились очень удобно на широких нарах. Отец доказывал матери моей, что она напрасно не любит чувашских деревень, что ни у кого нет таких просторных изб и таких широких нар, как у них, и что даже в их избах опрятнее, чем в мордовских и особенно русских; но мать возражала, что чувашки сами очень неопрятны и гадки; против этого отец не спорил, но говорил, что они предобрые и пречестные люди. Светец, с ущемленной в него горячей лучиной, которую надобно было беспрестанно заменять новою, обратил на себя мое особенное внимание; иные лучины горели как-то очень прихотливо: иногда пламя пылало ярко, иногда чуть-чуть перебиралось и вдруг опять сильно вспыхивало; обгоревший, обуглившийся конец лучины то загибался крючком в сторону, то падал, треща, и звеня, и ломаясь; иногда вдруг лучина начинала шипеть, и струйка серого дыма начинала бить, как струйка воды из фонтанчика, вправо или влево. Отец растолковал мне, что это была струйка не дыма, а пара от сырости, находившейся в лучине. Все это меня очень занимало, и мне было досадно, когда принесли дорожную свечу и погасили лучину. Мы все провели ночь очень спокойно под своими пологими, без которых мы никуда не ездили. Ночью дождь прошел; хотя утро было прекрасное, но мы выехали не так рано, потому что нам надобно было переехать всего пятнадцать верст до Парашина, где отец хотел пробыть целый день. Слыша часто слово «Парашино», я спросил, что это такое? И мне объяснили, что это было большое и богатое село, принадлежавшее тетке моего отца, Прасковье Ивановне Куролесовой, и что мой отец должен был осмотреть в нем все хозяйство и написать своей тетушке, все ли там хорошо, все ли в порядке. Верст за восемь до села пошли парашинские поля, покрытые спелой, высокою и густою рожью, которую уже начали жать. Поля казались так обширны, как будто им и конца не было. Отец мой говорил, что он и не видывал таких хлебов и что нынешний год урожай отличный. Молодые крестьяне и крестьянки, работавшие в одних рубахах, узнали наших людей и моего отца; воткнув серпы свои в сжатые снопы, они начали выбегать к карете. Отец велел остановиться. По загорелым лицам жнецов и жниц текли ручьи пота, но лица были веселы; человек двадцать окружили нашу карету. Все были так рады. «Здравствуй, батюшка Алексей Степаныч! – заговорил один крестьянин постарше других, который был десятником, как я после узнал. – Давно мы тебя не видали. Матушка Прасковья Ивановна отписала к нам, что ты у нас побываешь. Насилу мы тебя дождались». Отец мой, не выходя из кареты, ласково поздоровался со всеми и сказал, что вот он и приехал к ним и привез свою хозяйку и детей. Мать выглянула из окна и сказала:

«Здравствуйте, мои друзья!» Все поклонились ей, и тот же крестьянин сказал: «Здравствуй, матушка Софья Николавна, милости просим. А это сынок, что ли, твой?» – продолжал он, указав на меня. «Да, это мой сын, Сережа, а дочка спит», – отвечал отец. Меня высунули из окошка. Мне также все поклонились и назвали меня Сергеем Алексеичем, чего я до тех пор не слыхивал. «Всем вам мы рады, батюшка Алексей Степаныч», – сказал тот же крестьянин. Радость была непритворная, выражалась на всех лицах и слышна была во всех голосах. Я был изумлен, я чувствовал какое-то непонятное волнение и очень полюбил этих добрых людей, которые всех нас так любят. Отец мой продолжал разговаривать и расспрашивать о многом, чего я и не понимал; слышал только, как ему отвечали, что, слава Богу, все живут помаленьку, что с хлебом не знай, как и совладать, потому что много народу хворает. Когда же мой отец спросил, отчего в праздник они на барщине (это был первый Спас, то есть первое августа), ему отвечали, что так приказал староста Мироныч; что в этот праздник точно прежде не работали, но вот уже года четыре как начали работать; что все мужики постарше и бабы-ребятницы уехали ночевать в село, но после обедни все приедут, и что в поле остался только народ молодой, всего серпов с сотню, под присмотром десятника. Отец и мать простились с крестьянами и крестьянками. Я отвечал на их поклоны множеством поклонов, хотя карета тронулась уже с места, и, высунувшись из окна, кричал: «Прощайте, прощайте!» Отец и мать улыбались, глядя на меня, а я, весь в движении и волнении, принялся расспрашивать: отчего эти люди знают, как нас зовут? Отчего они нам рады и за что они нас любят? Что такое барщина? Кто такой Мироныч? и проч. и проч. Отец как-то затруднялся удовлетворить всем моим вопросам, мать помогла ему, и мне отвечали, что в Парашине половина крестьян родовых багровских, и что им хорошо известно, что когда-нибудь они будут опять наши; что его они знают потому, что он ездил в Парашино с тетушкой, что любят его за то, что он им ничего худого не делал, и что по нем любят мою мать и меня, а потому и знают, как нас зовут. Что такое староста Мироныч – я хорошо понял, а что такое барщина – по моим летам понять мне было трудно.



В этот раз, как и во многих других случаях, не поняв некоторых ответов на мои вопросы, я не оставлял их для себя темными и нерешенными, а всегда объяснял по-своему: так обыкновенно поступают дети. Такие объяснения надолго остаются в их умах, и мне часто случалось потом, называя предмет настоящим его именем, заключающим в себе полный смысл, – совершенно его не понимать. Жизнь, конечно, объяснит все, и узнавание ошибки бывает часто очень забавно, но зато бывает иногда очень огорчительно.

После ржанных хлебов пошли яровые, начинающие уже поспевать. Отец мой, глядя на них, часто говорил с сожалением: «Не успеют нынче убраться с хлебом до ненастья; рожь поспела поздно, а вот уже и яровые поспевают. А какие хлеба, в жизнь мою не видывал таких!» Я заметил, что мать моя совершенно равнодушно слушала слова отца. Не понимая, как и почему, но и мне было жалко, что не успеют убраться с хлебом.

Парашино

С плоской возвышенности пошла дорога под изволок, и вот наконец открылось перед нами лежащее на низменности богатое село Парашино, с каменной церковью и небольшим прудом в овраге. Господское гумно стояло, как город, построенный из хлебных кладей, даже в крестьянских гумнах видно было много прошлогодних копен. Отец мой радовался, глядя на такое изобилие хлеба, и говорил: «Вот крестьяне так крестьяне! Сердце радуется!» Я радовался вместе с ним и опять заметил, что мать не принимала участия в его словах. Наконец мы въехали в село. В самое это время священник в полном облачении, неся крест на голове, предшествуемый диаконом с кадилом, образами и хоругвями и сопровождаемый огромною толпою народа, шел из церкви для совершения водосвящения на иордани. Пение дьячков заглушалось колокольным звоном и только в промежутках врывалось в мой слух. Мы сейчас остановились, вышли из кареты и присоединились к народу. Мать вела меня за руку, а нянька несла мою сестрицу, которая с необыкновенным любопытством смотрела на невиданное ею зрелище; мне же хотя удалось видеть нечто подобное в Уфе, но тем не менее я смотрел на него с восхищением.

После водосвятия, приложившись ко кресту, окропленные святой водою, получив от священника поздравление с благополучным приездом, пошли мы на господский двор, всего через улицу от церкви. Народ окружал нас тесною толпою, и все были так же веселы и рады нам, как и крестьяне на жнитве; многие старики протеснились вперед, кланялись и здоровались с нами очень ласково; между ними первый был малорослый, широкоплечий, немолодой мужик с проседью и с такими необыкновенными глазами, что мне даже страшно стало, когда он на меня пристально поглядел. Толпа крестьян проводила нас до крыльца господского флигеля и потом разошлась, а мужик с страшными глазами взбежал на крыльцо, отпер двери и пригласил нас войти, приговаривая: «Милости просим, батюшка Алексей Степаныч и матушка Софья Николавна!» Мы вошли во флигель; там было как будто все приготовлено для нашего приезда, но после я узнал, что тут всегда останавливался наезжавший иногда главный управитель и поверенный бабушки Куролесовой, которого отец с матерью называли Михайлушкой, а все прочие с благоговением величали Михайлом Максимовичем, и вот причина, почему флигель всегда был прибран. Из слов отца я сейчас догадался, что малорослый мужик с страшными глазами был тот самый Мироныч, о котором я расспрашивал еще в карете. Отец мой осведомлялся у него обо всем, касающемся до хозяйства, и отпустил, сказав, что позовет его, когда будет нужно, и приказав, чтоб некоторых стариков, названных им по именам, он прислал к нему. Как я ни был мал, но заметил, что Мироныч был недоволен приказанием моего отца. Он так отвечал «слушаю-с», что я как теперь слышу этот звук, который ясно выражал: «Нехорошо вы это делаете». Когда он ушел, я услышал такой разговор между отцом и матерью, который привел меня в большое изумление. Мать сказала, что этот Мироныч должен быть разбойник. Отец улыбнулся и отвечал, что похоже на то; что он и прежде слышал об нем много нехорошего, но что он родня и любимец Михайлушки, а тетушка Прасковья Ивановна во всем Михайлушке верит; что он велел послать к себе таких стариков из багровских, которые скажут ему всю правду, зная, что он их не выдаст, и что Миронычу было это невкусно. Отец прибавил, что поедет после обеда осмотреть все полевые работы, и приглашал с собою мою мать; но она решительно отказалась, сказав, что она не любит смотреть на них и что если он хочет, то может взять с собою Сережу. Я обрадовался, стал проситься; отец охотно согласился. «Да, вот мы с Сережей, – сказал мой отец, – после чаю пойдем осматривать конный завод, а потом пройдем на родники и на мельницу». Разумеется, я тоже очень обрадовался и этому предложению, и мать тоже на него согласилась. После чаю мы отправились на конный двор, находившийся на заднем конце господского двора, поросшего травой. У входа в конюшни ожидал нас, вместе с другими конюхами, главный конюх Григорий Ковляга, который с первого взгляда

очень мне понравился; он был особенно ласков со мною. Не успели мы войти в конюшни, как явился противный Мироныч, который потом целый день уже не отставал от отца. Мы вошли широкими воротами в какое-то длинное строение; на обе стороны тянулись коридоры, где направо и налево, в особых отгородках, стояли старые большие и толстые лошади, а в некоторых и молодые, еще тоненькие. Тут я узнал, что их комнатки назывались стойлами. Против самых ворот, на стене, висел образ Николая Чудотворца, как сказал мне Ковляга. Осмотрев обе стороны конюшни и похвалив в них чистоту, отец вышел опять на двор и приказал вывести некоторых лошадей. Ковляга сам выводил их с помощью другого конюха. Гордые животные, раскормленные и застоявшиеся, ржали, подымались на дыбы и поднимали на воздух обоих конюхов, так что они висели у них на шеях, крепко держась правой рукою за узду. Я робел и прижимался к отцу; но когда пускали некоторых из этих славных коней бегать и прыгать на длинной веревке вокруг державших ее конюхов, которые, упершись ногами и пригнувшись к земле, едва могли с ними ладить – я очень ими любовался. Мироныч во все совался, и мне было очень досадно, что он называл Ковлягу Гришка Ковляжонок, тогда как мой отец называл его Григорий. «А где пасутся табуны?» – спросил мой отец у Ковляги. Мироныч отвечал, что один пасется у «Кошелги», а другой у «Каменного врага», и прибавил: «Коли вам угодно будет, батюшка Алексей Степаныч, поглядеть господские ржаные и яровые хлеба и паровое поле (мы завтра отслужим молебен и начнем сев), то не прикажете ли подогнать туда табуны? Там будет уж недалеко». Отец отвечал: «Хорошо». С конного двора отправились мы на родники. Отец мой очень любил всякие воды, особенно ключевые; а я не мог без восхищения видеть даже бегущей по улицам воды, и потому великолепные парашинские родники, которых было больше двадцати, привели меня в восторг. Некоторые родники были очень сильны и вырывались из середины горы, другие били и кипели у ее подошвы, некоторые находились на косогорах и были обделаны деревянными срубам с крышей; в срубы были вдолблены широкие липовые колоды, наполненные такой прозрачной водою, что казались пустыми; вода по всей колоде переливалась через край, падая по бокам стеклянною бахромой. Я видел, как приходили крестьянки с ведрами, оттыкали деревянный гвоздь, находившийся в конце колоды, подставляли ведро под струю воды, которая била дугой, потому что нижний конец колоды лежал высоко от земли, на больших каменных плитах (бока оврага состояли все из дикого плитняка). В одну минуту наполнялось одно ведро, а потом другое. Все родники стекали в пруд. Многие необделанные ключи текли туда же ручейками по мелким камешкам; между ними мы с отцом нашли множество прекрасных, точно как обточенных, довольно длинных, похожих на сахарные головки: эти камешки назывались чертовыми пальцами. Я увидел их в первый раз, они мне очень понравились; я набил ими свои карманы, только название их никак не мог объяснить мне отец, и я долго надоедал ему вопросами, что за зверь черт, имеющий такие крепкие пальцы? Еще полный новых и приятных впечатлений, я вдруг перешел опять к новым если не так приятным, зато не менее любопытным впечатлениям: отец привел меня на мельницу, о которой я не имел никакого понятия. Пруд наполнялся родниками и был довольно глубок; овраг перегораживала, запружая воду, широкая навозная плотина; посредине ее стояла мельничная амбарушка; в ней находился один мукомольный постав, который молол хорошо только в полуую воду, впрочем, не оттого, чтобы мало было воды в пруде, как объяснил мне отец, а оттого, что вода шла везде сквозь плотину. Эта дрянная мельница показалась мне чудом искусства человеческого. Прежде всего я увидел падающую из каузной трубы струю воды прямо на водяное колесо, позеленевшее от мокроты, ворочавшееся довольно медленно, все в брызгах и пене; шум воды смешивался с каким-то другим гуденьем и шипеньем. Отец показал мне деревянный ларь, то есть ящик, широкий вверху и узенький внизу, как я увидал после, в который всыпают хлебные зерна. Потом мы сошли вниз, и я увидел вертящийся жернов и над ним дрожащий ковшик, из которого сыпались зерна, попадавшие под камень; вертясь и раздавливая зерна, жернов, окруженный лубочной обечайкой, превращал их в муку, которая сыпалась

вниз по деревянной лопаточке. Заглянув сбоку, я увидел другое, так называемое сухое колесо, которое вертелось гораздо скорее водяного и, задевая какими-то кулаками за шестерню, вертело утвержденный на ней камень; амбарушка была наполнена хлебной пылью и вся дрожала, даже припрыгивала. Долго находился я в совершенном изумлении, разглядывая такие чудеса и вспоминая, что я видел что-то подобное в детских игрушках; долго простояли мы в мельничном амбаре, где какой-то старик, дряхлый и сгорбленный, которого называли засыпкой, седой и хворый, молот всякое хлебное ухвостье для посыпки господским лошадям; он был весь белый от мучной пыли; я начал было расспрашивать его, но, заметя, что он часто и задыхаясь кашлял, что привело меня в жалость, я обратился с остальными вопросами к отцу: противный Мироныч и тут беспрестанно вмешивался, хотя мне не хотелось его слушать. Когда мы вышли из мельницы, то я увидел, что хлебная пыль и нас выбелила, хотя не так, как засыпку. Я сейчас начал просить отца, чтоб больного старичка положили в постель и напоили чаем; отец улыбнулся и, обратясь к Миронычу, сказал: «Засыпка, Василий Терентьев, больно стар и хвор; кашель его забил, и ухвостная пыль ему не годится; его бы надо совсем отставить от старичьих работ и не наряжать в засыпки». – «Как изволите приказать, батюшка Алексей Степаныч, – отвечал Мироныч, – да не будет ли другим обидно? Его отставить, так и других надо отставить. Ведь таких дармоедов и лежебоков много. Кто же будет старичьи работы исполнять?» Отец отвечал, что не все же старики хворы, что больных надо поберечь и успокоить, что они на свой век уже поработали. «Ведь ты и сам скоро состаришься, – сказал мой отец, – тоже будешь дармоедом и тогда захочешь покою». Мироныч отвечал: «Слушаю-с; по приказанию вашему будет исполнено; а этого-то Василья Терентьева и не надо бы миловать: у него внук буян и намнясь чуть меня за горло не сгреб». Отец мой с сердцем отвечал, и таким голосом, какого я у него никогда не слыхивал: «Так ты за вину внука наказываешь больного дедушку? Да ты взыскивай с виноватого». Мироныч проворно подхватил: «Будьте покойны, батюшка Алексей Степаныч, будет исполнено по вашему приказанию». Не знаю отчего, я начинал чувствовать внутреннюю дрожь. Василий Терентьев, который видел, что мы остановились, и побрел было к нам, услышав такие речи, сам остановился, трясаясь всем телом и кланяясь беспрестанно. Когда мы взошли на гору, я оглянулся – старик все стоял на том же месте и низко кланялся. Когда же мы пришли в свой флигель, я, забыв о родниках и мельнице, сейчас рассказал матери о больном старичке. Мать очень горячо приняла мой рассказ: сейчас хотела призвать и разбранить Мироныча, сейчас отставить его от должности, сейчас написать об этом к тетушке Прасковье Ивановне... и отцу моему очень трудно было удержать ее от таких опрометчивых поступков. Тут последовал долгий разговор и даже спор. Я многого не понимал, многое забыл, и у меня остались в памяти только отцовы слова: «Не вмешивайся не в свое дело, ты все дело испортишь, ты все семейство погубишь, теперь Мироныч не тронет их, он все-таки будет опасаться, чтоб я не написал к тетушке, а если пойдет дело на то, чтоб Мироныча прочь, то Михайлушка его не выдаст. Тогда мне уж в Парашино и заглядывать нечего, пользы не будет, да, пожалуй, и тетушка еще прогневается». Мать поспорила, но уступила. Боже мой! Какое смешение понятий произошло в моей ребячьей голове! За что страдает больной старичок, что такое злой Мироныч, какая это сила Михайлушка и бабушка? Почему отец не позволил матери сейчас прогнать Мироныча? Стало, отец может это сделать? Зачем же он не делает? Ведь он добрый, ведь он никогда не сердится? Вот вопросы, которые кипели в детской голове моей, и я разрешил себе их тем, что Михайлушка и бабушка недобрые люди и что мой отец их боится.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.